

МАРК ХАРИТОНОВ

ЗАКАТЫ УТЕХИ

1

Утеха — по-русски «утешение».

Четыре года назад наша младшая дочь купила здесь, на окраине, восхитительный двухэтажный домик над морем. Толком обосноваться ей в Черногории не удалось, вмешался кризис, теперь она пытается этот дом продать. Мы опять приезжаем сюда с мыслью: может, это последний раз? Ничто так не обостряет восприятия.

Конец сентября — начало октября, курортный сезон позади. Отели и виллы вокруг пустуют, многие здания годами недостроены, серый бетон, редкие окна по вечерам светятся, местных жителей здесь почти нет. За целый день можно никого не встретить. Куда-то девались даже длиннорogie козы, которые паслись, бывало, среди крутых каменных осыпей.

Славная страна, где прощаешься за руку со стариком, у которого по дороге купил гранаты. (А можно сорвать их на диком склоне бесплатно.) Где кельнер ловит на удочку рыбу прямо с ресторанного парапета, можешь потом заказать. Где в роще олив под стволами неохватными, сказочными, в многовековых бороздах и наростах подбирают в ведра падалицу. (Масло здесь лучше покупать не в магазине.)

Мы снимали комнаты в разных местах, поездили с детьми на машине, насмотрелись достопримечательностей. Но нет для нас ничего лучше нынешнего уединения. Окрестности нам давно знакомы, поднимемся при надобности в ближний магазин или прогуляемся вдоль шоссе к дальнему. Внизу, в полусотне метров, бухта для нас двоих, больше сейчас никто не плавает. Мандарины в небольшом садике еще зеленые, но винограда хватает на каждый день.

Сердечно поздравляем Марка Сергеевича Харитонова с 75-летием — 31 августа.

Марк Сергеевич Харитонов (род. в 1937 г.) — прозаик, эссеист, поэт, переводчик. Автор романов «Два Ивана» (Сб. «День в феврале». М., 1988), «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» (М., 1992), «Возвращение ниоткуда» (М., 1995), «Проект Одиночество» (М., 2002), «Увидеть больше» (М., 2012); эссеистических книг «Способ существования» (М., 1997), «Стенография конца века» (М., 2002), «Уроки счастья» (М., 2009), «Стенография начала века» (М., 2011), многих повестей и рассказов. Роман «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича» удостоен в 1992 г. первой русской Букеровской премии. Произведения переведены на многие языки. Живет в Москве.

С погодой нам опять повезло, море теплое, плаваю по километру и больше в день, просолился настолько, что соль, кажется, проступает кристалликами на коже, усах, мышцы, наработанные кролем, на ощупь каменные. Чего может еще не хватать, о чем можно мечтать? А ведь не хватает чего-то, что-то свербит, вот ведь не сразу поймешь.

Вечером, когда мы очередной раз собрались провозжать вином заходящее солнце, я вдруг увидел нас со стороны. Как бы это запечатлеть? Фотографическое плоское подобие безжизненно, разглядывать его потом — омертвить вибрирующий сейчас трепет. Разве что обозначить словами — ни на что не претендуя, зацепки для памяти, чтобы ее потом проще было заполнить.

Просторная терраса над морем. Галина мастерская, верхний свет во все небо. На белых стульях, пластмассовом и металлическом, закреплены две белые пенопластовые доски, одна вертикально, другая в ширину, — удобные мольберты, на них листы работ. Одна сделана сегодня: дом над изогнутым по горизонту морем, женщины под деревьями; другая вчерашняя: стволы олив. На белом столе кисти и краски. Мы смотрим на них от своего стола, запахнувшись для тепла в пледы. Перед нами литровая бутылка черногорского «Vrapas», стаканы с темно-красным вином, виноград, собранный тут же сегодня, в маленькой стекляшке нежно-лиловые крокусы и неизвестные цветы помельче, тоже лиловые. Темно-рябое стекло круглого стола повторяет рябь просторного моря внизу.

Мы на лучших местах: царская ложа, первый ряд.

Солнце выглянуло из-под черной тучи над черным морем минут на десять, коснулось воды, разрослось, собираясь удвоиться. Можно проследить по миллиметру ускоренное, как в кино, погружение невообразимой громады. Меняется окраска неба, облака внизу рельефно багровеют, как поверхность фантастической планеты, к которой мы приближаемся вместе с кораблем-Землей. Божественное зрелище, языческий ритуал. Чокнулись, благодаря ушедший день.

Потом все погасло, стало быстро темнеть.

2

Утром воздух, прозрачный до горизонта, оставляет пространству только линейную перспективу — даже слабая дымка не свидетельствует о расстоянии. Прорисованы дальние постройки, зеленые горы, каждое дерево. Четкость восточной миниатюры.

Фрукты, овощи — на уличных лотках, продавщицу надо вызывать звонком, спускается со второго этажа, еще сонная. Мы здесь как будто единственные покупатели. Перед дальним магазином за столиками уже с восьми утра сидят двое, перед каждым бутылка пива, смотрят молча перед собой, один курит. Рановато для выпивки, но нечем заняться, нет работы, не сезон. Думают ли о чем-нибудь? Блаженное растительное существование: ни о чем не думать. Что все-таки не так?

Я ведь сам только что закончил и отослал в издательство работу, она потребовала непростых, многолетних усилий и нервов — казалось бы, освободился, отдыхай наконец, наслаждайся бездумно жизнью. Нет, почему-то долго не получается. Четыре дня, уже пятый, прошли, сжавшись в один. А ведь так и жизнь пройдет, не заметишь.

Тоже, считай, мысль, но не ее же записывать, вот что смущает. Расслабленность, пустая голова. Знакомое состояние, пугающее, как импотенция. Вдруг ничего больше не смогу? Без напряженной творческой мысли

блаженство словно бы не совсем полноценно. Профессиональная болезнь пишущих, психиатры охотно расскажут. Иные, испугавшись бесплодия, кончали даже с собой. Какая-то встроена в организм помеха, вот ведь беда. Еще и месяца не прошло — уже тоскуешь. Другим хорошо, обходятся.

Лопаются пузыри на волнах, миг — и нет их, сменяются, обновляется пена, ничто не остается навечно. Мгновения жизни обретают, сохраняют реальность в тебе, в твоих мыслях, чувствах, памяти. Достоверно запечатленные, сохраненные внутри или вот на этих листках.

На террасе хорошо обложить себя книгами. Для чтения я взял с собой главным образом поэтов — Мандельштама, Бродского, Пессоа на французском языке. Поэзию, даже знакомую почти наизусть, можно перечитывать понемногу, додумывая, вникая, она не исчерпывается, как сюжетная проза, быстрым чтением, хватает надолго.

— Когда читаешь умных поэтов, иногда кажется, что в жизни есть смысл.

— А если не читаешь?

— Тогда приходится самому думать. Только времени все нет. Писатели этим по службе должны заниматься.

А ведь верно, у людей слишком много других дел, мысли заняты, не хватает не то что времени — души, чтобы приостановить житейскую гонку, вспомнить, что все неминуемо должно кончиться, ощутить какую-то недостаточность. Тут начинается служба таких, как ты. Извлекать смысл, находить слова — для себя, но ведь и для других. Создавать миры, не существовавшие до нас, невозможные без нас.

Вот что стоит сейчас додумать, зацепилась вдруг мысль. Оформить, поставить в связь то, что мимоходом набрасываешь на сподручных осьмушках стенографическими закорючками. Не работа — способ существования: так шелкопряд сгущает выделения своей жизнедеятельности. Спасительная привычка. Попутные заметки, строчки начатых, еще не оформленных верлибров, захватил с собой вместе с книгами. Перебираешь время от времени с чувством, что едва ли не каждый просится в текст, уже начавший мерещиться.

Возвращаются рыбаки, поднимают сети. На рассвете они плыли вдоль берега на юг, отмечая оставляемыми буйками гладкие следы на ровной ряби.

(Вспомнилось, как на Па-де-Кале паромы и разные другие шедшие чередом суда отчетливо обновляли постоянную, казалось, дорогу между Францией и Англией.)

Облачная полоса на закате — растекающаяся акварель. А под ней полоса маслом, светятся изнутри засохшие струпы, как застывшая рябь.

Самолеты в высоте один за другим добавляют к прихотливым облакам ровные, как по линейке, следы — человеческую составляющую. Для тренировки, что ли, каждый вечер летают после заката? Для удовольствия.

3

Бродский у меня почему-то в Утехе не пошел. Не раз читанные строки стали вдруг вызывать словно сопротивление. «Кто не жалуется на судьбу, тот ее недостоин». Но я, прости господи, не жалеюсь. Может, от легкомыслия? Кто из нас, в конце концов, нобелевский лауреат? Нет, слишком эффектно. Судьбы надо удостоиться, осилив, приняв ее, это не всякому дается. У меня, помнится, даже был где-то об этом листок. Вот: «Судьбы удостоивается не каждый, / Лишь способный ее творить, / Осуществляя предназначение».

Жалуются на судьбу неудачники. «Господи, почему ты ни разу не дал мне выиграть?» — «Да ты купил бы хоть однажды лотерейный билет».

Я болел много и тяжело, неудач у меня было больше, чем удач, — подыскиваю слова дальше — и останавливаюсь. Что считать неудачами? Чего-то не получал, что-то не получалось, чего-то не смог осуществить? Но как сравнить эти мелкие частности с единственной, всеохватывающей удачей (если не заниматься сейчас поиском более точного слова) — с жизнью, которая мне дана и которая пока продолжается, со способностью вбирать ее восхищенно? Право же, зная кое-что, как и Бродский, о ее мрачных глубинах, о неминуемом, теперь совсем уже близком конце? Если это легкомыслие — так ли оно отличается от светлого религиозного мироощущения, которое при всех бедах не оставляло Мандельштама?

За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?

(Емкость и глубина вопросительной формы: требуется ли ответ?)

У Бродского: «Мир создан был из смешенья грязи, воды, огня, / воздуха с вкрапленным в оный криком „не тронь меня!“». Потом возникли «в лице / сходство прошлого с будущим, арии с ТБЦ». Почему ничего не подвернулось лучше туберкулеза? Ради рифмы, право. И от общего расположения духа. (Скорей нерасположенности. Уж я-то про ТБЦ мог бы рассказать.) «И пустоте стало страшно за самое себя. / Первыми это почувствовали птицы — хотя звезда / тоже суть участь камня, брошенного в дрозда». Почему, кстати, не «есть», а «суть», множественное число?

Поднимаю глаза от книги. Облака, сказка превращений. Птицы с вытянутыми устремленными шеями мчатся без ветра, не удаляясь, хвосты теряют очертания. Стремительная неподвижность, в пространстве, во времени. Растворяются, исчезают. Как мы. С удаленных высот — что наши мелкие передвижения?

«Только Господь / вас видит с изнанки...» Это Бродский про облака. Он, что ли, не летал на самолете, не видел?

Почему-то все цепляюсь. Не идет просто, бывает. Может, Бродский адекватней звучит в городе? Может, он как-то не так воспринимается на сияющем открытом просторе? (Не могу, кстати, вспомнить у него солнечных летних пейзажей. Надо проверить.)

Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.

Вот где его подлинная глубина. Несравненные строки. Надо будет еще дочитать, додумать, пусть не сейчас.

Темное тире баржи на горизонте кажется неподвижным. Время спуска поднимаю глаза от книги — оно уже сдвинулось.

Пусть эти строки ему будут морем.

4

Не перестаю удивляться: сколько ни перечитываешь Мандельштама, едва ли не каждый раз открываешь заново еще не отмеченное, не воспринятое, пропущенное мимоходом.

Читая «Воронежские тетради» подряд, явственно ощущаешь тягостность подневольной жизни среди пустых однообразных равнин:

О, этот медленный, одышливый простор! —
Я им пресыщен до отказа...

Но в тот же день (16 января 1937 года) — готовность все-таки любоваться, проникаясь странной, пугающей красотой:

...И все уютится, плоится без морщин
Равнины дышащее чудо.

А солнце шуруется в крахмальной нищете...

Не знаю, оценят ли жители юга это несравненное описание с ранних лет знакомого мне пейзажа, сияющего на солнце наста. Действительно чудо!

Но в тот же день:

Что делать нам с убитостью равнин,
С протяжным голодом их чуда?

Стихи сквозь одышку, от голода не уйти —

И все растет вопрос: куда они, откуда
И не ползет ли медленно по ним
Тот, о котором мы во сне кричим, —
Народов будущих Иуда?

Сияние снегов бывает невыносимым, испытавший подтвердит. «Повязку бы на оба глаза!» — написано в тот же день.

Уж лучше б вынес я песка слоистый нрав
На берегах зубчатых Камы...

Но через день, 18 января, — мое любимое:

Не сравнивай: живущий несравним.
С каким-то ласковым испугом
Я соглашался с равенством равнин...

Давно повторяю это наизусть: «Где больше неба мне — там я бродить готов...» Мое чувство — чувство человека, готового (способного) видеть чудо в пейзаже, который другим покажется убогим, пугающим, тягостным. Но это проще повторять, когда легко скользишь на лыжах по сияющей равнине и ты не голодный одышливый невольник, помнящий другую жизнь.

...И ясная тоска меня не отпускает
От молодых еще воронежских холмов
К всечеловеческим, яснеющим в Тоскане.

Надежда Яковлевна вспоминает, как сам Мандельштам иронизировал над этими строчками, возникшими словно нечаянно: вот что, оказывается, меня не отпускает, всего лишь ясная тоска.

Но в тот же день:

Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

Вот величие подлинного поэта, его служба — способность среди всех невзгод ощущать счастье повседневного существования и напоминать о нем, передавать, наделять им других.

Каким спасением, каким глотком живительного воздуха были для Мандельштама среди ссыльного воронежского задыхания воспоминания о Европе, образы средиземноморской культуры, архитектуры, живописи, природы, музыки! Я выделял эти любимые стихи, заучивая их наизусть, но подлинная, драматическая полнота проявляется, когда прослеживаешь чередование датированных стихов.

«К ноге моей привязан / Сосновый синий бор...» (9 января) — самоощущение невольника! И в тот же день: «Улыбнись, ягненок гневный, с Рафаэлева холста...» (воспоминание, образ искусства, глоток свободы). Но этого хватает лишь на время, чувство повторяется: «В нищей памяти впервые / Чуешь вмятины слепые...» (12—18 января). «Скучно мне: мое прямое / Дело тараторит вкось — / По нему прошлось другое, / Надсмеялось, сбило ось» (те же дни). «...И, спотыкаясь, мертвый воздух ем...» (1 февраля).

И в те же дни: «Как светотени мученик Рембрандт, / Я глубоко ушел в немеющее время...» (4 февраля). Знание о другом, историческом, времени, связь с культурой, оживающая то и дело память о других краях — спасительная отрада. «Разрывы круглых бухт, и хрящ, и синева... / <...> / Я с вами разлучен, вас оценив едва...» (тот же день). «...И вспоминаю наизусть и всуе» (8 февраля). «Я молю, как жалости и милости, / Франция, твоей земли и жимолости...» (3 марта). «Я видел озеро, стоявшее отвесно, / С разрезанною розой в колесе...» (4 марта).

Можно цитировать без конца, наслаждаясь, восхищаясь, вбирая в себя. Оживает каждая деталь, дышит насыщенная память, — а ведь многое поэт видел лишь однажды, в юности, смотрел потом репродукции, но это наполняло жизнь не меньше, чем тягостное окружение, помогало переносить его. Душевные события, не туристические впечатления.

«Я думаю, откуда мне известно имя Дали? Да ведь у меня есть духи „Дали“». Дама в экскурсионном автобусе на пути в Фигуэйрос, в музей Сальвадора Дали.

Соприкасаясь с гениями, вникая в них, сам вырастаешь, мысль, чувство работают интенсивней. Думаешь: с ними и прожить бы недолгий остаток, не тратя времени на развлекательную, приблизительную продукцию современников, не отвлекаясь на мутную злобу дня.

Нет, нельзя не думать о повседневности, о новостях, которые исподволь становятся неуследимо меняющейся, все быстрее уходящей жизнью. Современники помогают ощутить недолговечное переменчивое вещество окружающего времени, воспринимать себя в нем на пересечении с вечным. И блеснет порой среди серости искра подлинного.

5

Переменчивые формы, небольшое светлое облако щеголяет ровно, как по линейке, обрезанным слева полукругом... Впрочем, это не облако, это подросшая луна.

Едва засветясь на западе, чуть к югу, низко над морем, Венера на глазах, стремительно опускается в воды, уже ночные.

В прошлые годы я долго после заката наблюдал последовательное появление звезд. Названий по большей части не знал, что знал, успел забыть. Отчетливо, как первый ориентир, отмечал Большую Медведицу, сначала звезду на ковше, потом на ручке, и вот начинала мерещиться следующая — проверь остроту зрения.

В этом году неподалеку поставили яркие фонари; чтобы увидеть звезду, надо теперь загоразивать фонарь ладонью, — но увидит ли ослепленный глаз неисчерпаемую густоту сияющего небосвода?

Жители городских освещенных пространств успевают забыть, как выглядит звездное небо. Если видели прежде. Представь себе человека, который от рождения не успел его увидеть, вырос под электрическими огнями, не выезжая. Новая цивилизация позволяет обходиться. При желании можно посмотреть в планетарии.

Телевизионный сюжет про европейца, который по служебным делам прибыл, кажется, в Сингапур и надолго обосновался в новом центре цивилизации, даже не выходя из громадного здания. Незачем, дом-город оснащен был всем, необходимым для жизни, для работы, отдыха и развлечений. На одном этаже располагались офисы, жилые помещения повыше или пониже, эскалаторы поднимали или опускали на уровень ресторанов и кафе, на уровень спортивных площадок и залов. Бассейны с речной или морской водой помещены в нужный пейзаж, островки разнообразной природы снабжены соответствующими запахами. Обезьяны качаются на лианах, может даже настоящих, движущаяся дорожка позволяет по пути полюбоваться подводными существами, стекла в аквариуме прозрачные, будто их нет. Солнце для загара по желанию регулируется.

Что еще нужно душе? А, женщины... Ну, с этим, естественно, проблемы нет, обслуживающий персонал. (Для женщин свой.) Романтические отношения, продолжение рода, семейная жизнь — это уж если кому вздумается.

Улицы коридоров или коридоры улиц под электронным красивым небом. Кварталы исторических зданий, модели, допустим, уменьшенные, но можно войти внутрь, попробовать, что заинтересует, послушать, даже понюхать, приобрести антиквариат. Ну, это на понимающего ценителя. Ведь и предметы совсем недавнего прошлого уходят, становятся непонятными на протяжении одной жизни. Пожалуйста: керогаз, примус, лампы для радиоприемника, пишущая машинка, логарифмическая линейка. А вот это, что это такое? Продавец сам не знает названия, можно пригласить консультанта. Виниловые пластинки, знаменитые когда-то голоса, ария для колоратурного сопрано, помните еще такое? До сих пор кого-то еще учат петь, ставят голос так, чтобы без усилителей подать его в оперный зал, чтобы слышно было на верхних ярусах. Бельканто, антиквариат для гурманов, вроде пекинской оперы или тувинского горлового пения. Зачем, если есть доступный всем микрофон, не считая добавочных эффектов? Современная культура перестает быть достоянием касты, аристократической или интеллигентской, она становится общей.

Не слышно вчерашних кумиров. Уточните настройку.
Тембры или частоты не совмещаются, не совпадают.

При надобности здесь же наготове и ритуальные услуги, похоронная служба на мировом уровне, с учетом национальных и религиозных предпочтений. Даже и это, значит, не забыто? А как же! Клубы по национальным интересам, национальная кухня, фольклор, соревнования национальных команд, столкновения национальных фанатов (для эмоциональной разрядки — хорошо, если не больше). Глобализация, равноценность, терпимость — это само собой, но человеческая природа все еще никак не забудет о животных основах, племенное самоощущение не хочет исчезнуть совсем, может, даже к нашему облегчению: разбираться со своей индивидуальностью в одиночку — увязнешь.

И так ли грядущая электронно-компьютерная, виртуальная цивилизация окажется отличной от прежних? Новыми будут скорей способы, инструменты.

Во всех футуристических построениях речь идет, в общем, о том же: о поддержании жизни, наращивании знаний или богатства, производстве, распределении, экспансии, а там неизбежно и о борьбе, столкновениях, агрессии — все заранее смоделировано в компьютерных играх или в фантастических боевиках. Полюбопытствуйте, если угодно.

В каком-то отдаленном будущем научились оживлять убитых людей, делать бессмертными тех, у кого на это есть деньги. Но все фантастические изобретения, обезболивающая целительная фармацевтика, электроника не принесли почему-то ни счастья, ни мудрости, ни радости, ничего, кроме утверждения власти и финансового успеха. Сюжет, в сущности, тот же, что в бандитских сериалах, только мотаются по Вселенной на межпланетных кораблях, вместо пистолетов с глушителями у героев условные бластеры и т. п. Не пренебрегают, впрочем, холодным оружием, изощренным мордобитием, единоборствами с инопланетными тварями, эффектно. Женщины, и те занимаются пытками, да еще с особым сладострастием. И ради чего все? Ради возможности после победы насладиться синим или желтым вином, поужинать «при свечах», узнаем ближе к финалу. Дальше фантазия человеческих существ зайти, видно, не может.

Смысла, вот чего все не уловить. Жизнь, которую можно продолжать сколько угодно, требует все-таки не просто денег, но хоть какого-то смысла; тут-то и начинаются проблемы. Ни в какое межпланетное будущее от этого не уйдешь.

Перемигивание городских огней наряжает прохожих в цвета переменчивого карнавала, в стороне от огней все оказываются разоблаченными. Мягкое домашнее кресло, в полудреме или наяву примеряешь продолжение сюжета, когда, заблудившись в лабиринте сверхгорода, среди путаницы указателей, выходишь нечаянно за его пределы и не можешь вернуться. Дождь, ливень (вот как сейчас за окном), ветер, волны перехлестывают через парапет — куда деваться, где укрыться в этой сырой, непонятной, необустроенной жизни?.. Нет, еще страшней: в обжитом пространстве вдруг отключается электричество, единственный источник жизнеобеспечения. Хорошо, если есть резервные, а если нет? — думаешь, вслушиваясь в гроыханье грозы за окном. Дремотные мысли соблазняют ясностью. Вспышки молний проникают сквозь закрытые веки.

6

Записываю это на другое утро. Всю ночь лил ливень, гремела обширная гроза, несколько раз выключалось электричество, оставляя нас в крошечной темноте, потому что и уличные фонари гасли. Отключался мотор, поднимавший на второй этаж воду. Хорошо, что нам достаточно было просто добраться до постели.

Тем радостней оказалось с утра солнце. Пол на террасе еще блестит влагой, но просыхает быстро. Стрижи носятся в высоте, добывая пропитание, — восхищаются.

В безлюдной тишине, над морским простором, мысль работает все-таки по-особому. Можно отвлечься от забот и проблем, которые всегда готовы подменить что-то другое, важное, предлагают считать жизнью себя.

Стили, строи клубятся бесцветной массой,
превращаясь в окаменелость.
Где уж тут в собственной разобраться сути.

Это Чеслав Милош в переводе Бродского.

А я — я тоже
взял от жизни, что мог: города и страны.

Города и страны — это, что говорить, особенно понятно тем, кого, как нас, всю жизнь никуда не выпускали. Внешние впечатления расчлняют время, удлиняют, обогащают жизнь. Но вот, кстати, Фернандо Пессоа. Детство и часть юности провел в Южной Африке, в Дурбане, но ни город, ни страна никаких следов в его творчестве, кажется, не оставили. Вернувшись в Португалию, он до самой смерти жил в Лиссабоне, почти его не покидая, каждый день пешком шел на службу в свою контору, гулял обычно вдоль реки Тежу, по центральным улицам, не более, к кафе «Мартиньо», где стал завсегдатаем. Но тот и поэт, для кого простая городская прогулка оказывается незаурядным душевным событием, стоит любых путешествий.

«Внимательный, брожу я по улицам, и каждый прохожий мне сообщает новость, каждый дом готов что-то поведать, каждая афиша обращается ко мне с посланием.

Моя молчаливая прогулка — непрерывный разговор; все мы — люди, дома, камни, афиши и небо — огромная толпа, содружество, мы толкаемся локтями слов в великом шествии судьбы».

Томик Пессоа, французский перевод, мне когда-то подарила в Бургундии добрая знакомая, не перестаю ее благодарить. Книга сильно потрепана, поля испещрены карандашными пометками — я занимался по ней языком. Замечательная французская традиция — регулярные, рифмованные стихи переводить верлибром (да у Пессоа и верлибров было достаточно). Потом я нашел в Интернете русские переводы — насколько же поэт оказывался в них порой малоинтересным, заурядным (конгениальный перевод в поэзии всегда чудо), насколько поэтичней (и, разумеется, точней) звучали французские подстрочники! С них показалось позволительно кое-что для себя переводить, не зная португальского.

Я давно поймал себя на особом пристрастии к людям, не знавшим прижизненного успеха. Бах, открытый миру более полувека спустя после смерти. Музиль, кое-как печатавшийся, но едва замеченный и уверявший, что пишет для читателей, каких еще не существует... Да что перечислять! О наших гениях разговор особый. Мандельштама, Платонова, скольких еще просто душили — известная советская драма.

Но как могли не заметить, не оценить при жизни Пессоа? Напечатал кое-что в молодости, издавал с друзьями журнал — и потом почему-то замолк, всю жизнь переводил скучнейшую деловую корреспонденцию для торговой фирмы, — а для себя писал днем и ночью, от своего имени или от имени созданных им двойников-персонажей. Отказали раз-другой издатели, потом сам не захотел к ним стучаться? Предпочел добровольное затворничество?

«Верх величия, о котором я могу только мечтать — быть помощником бухгалтера в городе Лиссабоне, — горько иронизирует в прозаической „Книге беспокойства“ наиболее близкий поэту двойник, Бернардо Соареш. — Но этот контраст не сокрушает меня — он меня освобождает». «Обернем неудачу нашей победой!» — не перестает ободрять себя вместе с ним Пессоа. «Я потерпел поражение и несу с собой это сознание, словно знамя, покрытое славой». «Знамя поднято вопреки всему высоко, а зыбучие пески между тем засасывают... мою жизнь, мои сочинения, мою вечность».

Какой ум — и какая судьба! Скольких других кончали с собой, страдая от одиночества, непонятости, невостребованности! Опору, основу жизненной стойкости Пессоа искал внутри. Он творил ее для себя сам вместе со своим поэтическим миром, населяя его такими же творцами, наделяя созданных

персонажей внешностью, биографией, судьбой, делая их своими корреспондентами, собеседниками, оппонентами. Право, единственный в своем роде способ спастись от чувства пустоты, неуслышанности. «Если другой литературы сейчас нет <...> остается самому стать литературой».

Больше прямых высказываний говорят о его самоощущении эссе о Шекспире (написанные по-английски, на втором языке поэта). У Пессоа к нему какое-то личное, чуть ли не родственное отношение. Шекспир для него не просто величайший гений, но и «величайший неудачник литературы». Да, да, что бы об этом ни думали потомки. «И не будет ошибкой предположить, — пишет Пессоа, — что он сам это сознавал. Этот бдительный дух не мог обольщаться иллюзиями на сей счет». Современники не способны были оценить его подлинного величия, шум посмертных похвал был всего лишь шумом, таких же похвал удостаивались люди, имен которых сейчас никто не помнит, понимания в них не было. «И как было восхититься гением! — продолжает Пессоа. — Можно было понять создателя Фальстафа, но не создателя Гамлета. Гамлет, одно из воплощений своего создателя, больше себя самого. Как больше себя был и сам Шекспир».

Конечно же, это не просто о Шекспире — унижение паче гордости. «Какая ночная слава — быть великим, не будучи ничем».

Чего он мог не бояться, так это творческой исчерпанности. Он писал до последних дней, на службе, в кафе, ночами, мучаясь бессонницей, держал у изголовья тетрадь, чтобы записывать, просыпаясь. Количество написанного Пессоа впечатляет, тут не только стихи и проза, но и драмы, и философские сочинения, и работы по математике, истории, религии, даже астрологии — до сих пор в его наследии продолжают разбираться. Изрядно выпивал, это само собой, умер от цирроза печени сорока семи лет.

Я зримо представляю его: невысокого, подвыпившего, в очках, с тонкими усиками.

...Он выходит на улицу под аркады, поднимается по Руа Аврора.
Его почти не шатает. Бриз с моря как материнская ласка.
Черепица, стены, булыжник возвращают дневное тепло.
Этажи налезает один на другой — нагромождения жизней.
Где-то стихает радио, громко хлопает дверь,
Цоканье каблучков, беседа двойных шагов.
Плоть живого роения у фонарей делает свет телесным,
Как стихами становятся мысли. Тени, множась, сменяясь,
Обгоняют друг друга. Которая из них чья? Все твои.
Впрочем, их отбрасывает не тело — пиджак, шляпа, штаны.
Тебя, считай, нет. Перед архангелами предстанешь нагой,
Не отбрасывая теней, невидимый для живых.

Может, тогда начнется
Ваша посмертная жизнь, их и твоя, — та, где Гамлет и Макбет
Ведут разговор с Шекспиром, где творенья творят творца.
Из громоздкого сундука извлекут бумажные кипы,
Многие сотни страниц, драмы, прозу, стихи.
Назовут тебя величайшим поэтом...

Одно за другим гаснут окна,
Луна уходит за тучи — ночь снимает маску с лица,
Закрывается черным плащом, растворяются тени.
«Какая ночная слава — быть великим, но неизвестным!» —
Бормочет Фернандо Пессоа. — Кто из нас это сказал?»

Облака-птицы, облака-рыбы, облака-деревья, облака-звери, облака-чудища, готовность преобразиться. Листки с заготовками разных лет, строки, все еще ждущие, нащупывающие связь.

Легкая, из ничего, поволока над бездной
Возобновляется непрерывным усилием
Удержаться, удержаться...

Осьмушки, на которых я обычно пишу, — не просто особенно удобная для меня, экономная форма. Потом можно приставлять одну к другой, так ли, иначе, обнаруживая вдруг нечаянные связи. Мне уже случалось философствовать над феноменом таких заметок. «Сведенные воедино, они демонстрируют неожиданное для самого пишущего единство жизни и единство мысли. Заметки, разделенные годами и месяцами, как будто продолжают друг друга: ты думаешь над близким кругом тем и проблем, обнаруживаешь все те же пристрастия — в совокупности все это, помимо намерений, обрисовывает твою личность».

Так возникла мысль о фантиках, которыми был наполнен сундучок никому не известного провинциального философа в романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». (Не предполагал тогда удивительной переключки: ведь и Пессоа, оказывается, складывал свои рукописи в сундук, обнаруженный уже после его смерти.) Не первый и не последний раз пришлось осмысливать горестный феномен нашего времени: когда от бумаг, книг, сочинений остаются лишь клочки, фрагменты, соединять, домысливать их приходится за авторов потомкам. В только что законченном романе герой-сочинитель вспоминает свою (то есть, конечно, мою) давнюю повесть.

«Там старый, больной философ, чудом выживший лагерник, у которого погибли, оказались уничтожены неопубликованные рукописи, труды всей жизни, перед смертью размышляет об измерении, где должны же сохраняться идеи, мысли, даже нигде не записанные, о возможности хоть когда-нибудь проявить их... Это фантазия о бессмертии... если угодно, о смысле жизни или ее бессмысленности. Каждый однажды задумывается над этим, как же без этого? Не все ведь гении, не всем дано оставить после себя творения, музыку, изобретение, хотя бы построенный дом, чтобы пусть не на века, пусть ненадолго, но как-то обозначить свое существование, не совсем, не сразу исчезнуть...»

В персонаже повести узнаваемо проступали черты реального человека. Яков Голосовкер, философ, литератор, знаток античности, не просто разрабатывал всю жизнь «учение о духе как о высшем инстинкте, как о побудителе к символическому бессмертию» — в процессе труда осуществлялся для него миф собственной жизни. В этом мифе выстраивался свой сюжет, в нем можно было различить композицию, «возникновение, сплетение тем». Труд, который творился втайне от всех, были принесены в жертву комфорт, личное счастье, карьера.

Мог ли Голосовкер представить заранее, как трагически переиначит судьба его замысел, какой миф предложит философу не трактовать — воплотить на самом деле? Не миф ли о Фениксе, об огненной гибели, о попытке возродиться из пепла? Об осуществлении судьбы вопреки обрушившимся испытаниям? Почти неизбежная по советским временам каторга оказалась для Голосовкера не самым из них страшным. Вернувшись после трехлетнего заключения, он обнаружил, что человек, которому оставлены были на хранение его рукописи, собственноручно их сжег перед смертью.

Что это было? «Безумие ли, страх или опьянение алкоголика... — пытался потом понять философ, — или же просто ад темной души руководил им? Моя жизнь осталась неоправданной. От того, что было создано вдохновением, страданием, любовью, напряженной мыслью и трудом, остался пепел».

Тема нашей истории, трагедия страшной эпохи — сюжеты моих книг. Из века в век горит, едва успевая отстраиваться, деревянная, уязвимая страна, вновь и вновь вынужден наращивать память Иван, прозванный Беспмятным (в моем романе «Два Ивана»), провинциальный литературовед восстанавливает по клочкам, по разрозненным фрагментам жизнь и труды никому не известного мыслителя («Линии судьбы»), пловец, обслуживая под водой загадочное устройство, фантазирует о реальном воздействии мысли (повесть «Сторож»), герой моего последнего романа пытается хоть что-то узнать о бесследно пропавшем отце.

«Если прожитая жизнь никак не запечатлена, — размышляет он, — неужели совсем бесследна? Наше тепло, дыхание, выделенная энергия — они ведь что-то меняют в воздухе, в мире, пусть неощутимо, на миллионные доли градуса, поддерживают общее тепло. А были же мысли, чувства, любовь, память... Религиозный ответ не менее условен, чем другие... образ, идея Бога, посмертной жизни созданы человеком из той же потребности в объяснении».

Учение о символическом бессмертии... Нет ли самоутешительного лукавства в этой надежде «на миллионные доли градуса»? Дух, у которого «вместе с воплощением отнято и бессмертие», начинает мстить — вот что испытал на себе Голосовкер. Неуслышанность, невоплощенность — драма не только самого художника, это беда культуры. Нереализованность творческих потенций, заглохших, задушенных, отзывается болезненными процессами в обществе, в умах, в душах. Уж мы-то это знаем.

Однажды я полушутя предложил знакомому писателю, у которого безвозвратно была изъята при обыске только что завершенная рукопись: перекажите, посоветовал, своими словами. Увы, Голосовкеру пришлось убедиться, что это лишь кажется просто: вспомнить те самые — неповторимые, единственно нужные для единственной мысли. «Иные слова, иной ритм, иные образы, иное зрение», — сетовал он. «Мне осталось только воображение — память, в которой живет мучительно то, чего уже нет и что безвозвратно». Всю жизнь одинокий, без прямых учеников, он писал о попытках умиловить «дух невоплощения», о том, что дух этот грозен и опустошитель, — еще не зная, что под конец жизни его подстерегает безумие.

Не утратить, пронести сквозь чистый огонь,
Очнуться, преобразясь,
Уже не здесь, налегке, без боли.

Его видели на дорожках дачного поселка, босого, седобородого, неразговорчивого. Кому-то старик казался трогательным, кого-то вдруг смущал неожиданным вопросом. Люди большого ума, но с детской душой, заметил однажды он сам, стесняются сами себя, кажутся то сухими, то насмешливыми. И вспоминал древний миф о стране, где люди, от рождения седые, чернеют к старости.

Пока я писал эти строки, из-под облака выпростался краешек солнца, послав перед собой лучи вниз, к горизонту. Нет, снова закрылся, но розовеет закат.

Диск, потускневший, размером с большую монету,
Снизился к морю, к размытой границе,
К темной кайме, и вот прикоснулся низом,
Уже обрезана кромка, погружается в глубину,
Уменьшается на глазах, продвигается все быстрее,
Как в ускоренной съемке, миллиметр за миллиметром.

Так все быстрее, все ошутимей движется с возрастом время.
Его почти не осталось. Только забрезжила мысль,
Не задержалась, погасла, не возвратить, не успеть,
Не найдено слово, осталась не завершенной строка,
Остались долги, обязательства, обещания...

Вот и конец.

Запоздалая ласточка перечеркнула светящийся воздух.
Лодка пристала к берегу, почти с ним слилась.
Угасают письмена и узоры скальных морщин,
Воспоминания погружаются в тень, подробности тают.
Прохладой повеяло из пустоты без пространства...

Кружишься, возвращаешься из года в год все к тому же. Не помню, кто это сказал, что писатель всю жизнь пишет, по существу, одну книгу. Себя не перечитываешь, забываешь, что об этом однажды уже написал.

Вдруг из-под пелены, заменившей, оказывается, горизонт,
Выбился луч, выглянул краешек, стал расти, возрождаясь,
Не пятикопеечный диск — огненный мир, светло.
Значит, еще не закончен день, голоса не утихли,
Высветляются заново, укрупняясь, резные листья и травы,
Разрастается каждый миг — как в палате реанимации
Возвращение из беспамятного провала.
Небывалая ясность, похожая на понимание.
Значит, еще даровано время, конец отсрочен,
Надолго ли, нет ли — переживи еще раз сполна,
Заново, как до сих пор по-настоящему не сумел.

Высвободился во всю мощь раскаленно-холодный диск,
Сияет, не ослепляя, прекрасней, ясней, чем был,
Чтобы уйти неизбежно в края, где его еще ждут,
Но все-таки не сейчас, погода. Ночные спокойные тени
Дожидаются там, где закат уже пережит.

На просвет чернеет остаток вина в стакане.
Что ж, допьем. Сияние не бесконечно.
Вознесем на прощание благодарность за все, что нам было дано.

«Спасибо» по-сербски «хва̀ла».
Ударения здесь на первом слоге.
Ћтjећа. Утjећа, по-русски «утешение».